

«Ах, война, что ж ты  
сделала, подлая!»

Я всегда про нее знала: конечно, «в горящую избу войдет», конечно, сама неугомонность — «если не я, то кто? И почему, собственно, не я?». И само собой — безоглядное бесстрашие. В общем, Алексиевич — из породы белорусских партизан, так сказать, родная сестра Адамовича. И даже в том сходство, что оба не только постоянно под прицельным вандейским огнем, но вынуждены еще и в политических судах поучаствовать — только у него иск был предъявлен из-за перестройки ярым сталинистом Шеховцовым, а у нее на закате обвинения исходит от жертв Афгана из-за «Цинковых мальчишек», что на фоне напряженного политического противостояния вкрупне с поднявшей голову компартией представляется достаточно серьезным.

— Светлана, что стоит за этим судебным разбирательством? За требованием «принять меры»?

— После выхода книги «Цинковые мальчишки» она все время находилась в поле политической борьбы, по отношению к ней общественное мнение раскололось, причем непримиримо, так, как оно раскололось в восприятии прошлого и того, что сейчас делается. Интеллигенция, демократически настроенные люди, как мне кажется, иллюзорно представляли себе изменения, которые якобы произошли в нашем обществе. Как я теперь понимаю, мы имели дело с любимыми представлениями, с желаемым, а не с реальностью. К сожалению, все перемены совершаются в тонком слое культуры, не только не проникая глубоко, но даже не задевая многоликие слои. Дело не столько в партийной и госоминклатуре, в структурах власти, сколько в нас самих. Ведь судебный процесс против меня затеяли полуслепой инвалид-афганец и мать погибшего офицера. Я слышу окрик уже не партийной цензуры, не блюстителей идеологического порядка, а плач матери, которая мне кричит: «Я люблю тот режим!» — то есть режим, который забрал у нее сына и возвратил его с чужой земли в цинковом гробу. «А вас ненавижу». Вопрос: за что она меня ненавидит? Я понимаю, что она мне себя и кто-то в который раз использует ее в своих политических целях и амбициях. Но весь ужас в том, что она искренне верит в то, что говорит.

— Она же сама рассказала тебе о сыне?

— Но прошло время, афганскую войну сначала осторожно называли ошибкой, потом признали преступлением. И этого мать не может пережить: ее сын, получается, погиб зря? Он, выходит, не герой? И она спрашивает теперь с меня, как с врага: кто виноват? Ведь это я рассказала неунижну ей правду о кровавой войне. И она не слышит меня, когда я пытаюсь объяснить, что афганские матери плачут о своих сыновьях, павших, защищая собственный дом. А полуслепой парень с обожженным лицом, несколько лет назад рыдавший у меня дома и не веривший, что его откровенно покаянная исповедь — как мы там убивали, потому что хотели сами вернуться живыми! — будет когда-нибудь напечатана? Теперь же он, послушавший одним из протоколов повествования, настаивает, чтобы за его «поруганную солдатскую честь» я, автор, заплатила ему 50 тысяч рублей. Он перепутал меня с Министерством обороны, отправившим его на несправедливую войну, или с бывшей коммунистической властью, которая сегодня рвется снова быть вуководей и направляющей. Сам он до этого додумался или ему внушили, сыграв на его несчастье, нищенской пенсии, на безработице? И все-таки почему этих людей можно без конца использовать, делать податливыми, послушным орудием?

— Какая реакция в Беларуси на это судилище?

— Разная. Может быть, я когда-нибудь даже напишу хронику духовной гражданской войны наших дней. 20 января было заведено дело, а правительственные белорусские газеты за два дня до этого уже сообщили, что суд идет! Откуда поступила команда? Знакомый пошер... Не умолкает в моей квартире телефон: многие выражают поддержку. Заявили протест писатели — участники Великой Отечественной войны — М. Аврамчик, Я. Брыль, В. Быков, А. Дракохруст, Н. Кислик, В. Тарас. «Цинковые мальчишки» — пишут они, — развенчали лживую патетику и трескучий пафос официальных бардов афганской войны, свели на нет попытки придать ей романтический ореол, поставить ее на героические котурны. Видимо, именно это пришлось не по душе тем, кто

и сегодня старается доказать, что афганская и другие авантюры канувшего в прошлое режима, оплаченные кровью наших солдат, были исполнением «священного интернационального долга», кто хотел бы обелить черные дела политиков и честолюбиво-военачальников, кто хотел бы поставить знак равенства между участием в Великой Отечественной войне и в несправедливой, по сути колониальной, афганской. При всем нашем глубоком уважении к личному мужеству солдат и офицеров, посланных брежневским руководством КПСС сражаться в Афганистан, при всем искреннем сочувствии матерям, потерявшим в афганских горах своих сыновей, мы считаем такое уравнивание этих двух диаметрально противоположных по своему характеру войн несправедливым, если не кощунственным». Заявил протест белорусский ПЕН-клуб. А мой машинистка сказала в сердцах: «Пусть и меня осудят за то, что я, когда печатала Вашу книгу, плакала... Ваши мальчишки — великомученики...» Отец Виталий Радомысльский рассказал в «Народной газете», что он отслужил молебен, дабы Господь простил обезумевших от горя матерей... Мне жаль несчастных женщин, которые вырастили хороших детей и так жестоко потеряли их, мне жаль ребят, вернувшихся калеками, с потрясенной душой, но я не могла написать другую книгу... Разумеется, кому-то очень хочется устроить политический процесс над нашей робкой, незащищенной демо-

...Вскользь подслушанный разговор в метро, потом вдруг всплывший и осевший в памяти. Лица исчезли, промелькнули в одинаково уставшей, цементированной этой усталостью знакомой толпе, остались только голоса. Кажется, это были молодые голоса, они и запомнились этим возвращением времени, нашей неукротимой обреченностью на возвращение... Первый: «То, что ты называешь нашей историей, предмет исследования для психиатрии. Патология... Мы все больны...» Второй: «Нам всегда не хватает прошлого...» Первый: «Из какой грязи, из какого кошмара... На какой крови все замешено... Ты теперь понимаешь?!» Второй: «Но все это наше... Это тот несчастный кусочек земли, который я люблю». Первый: «Неужели можно любить эту лужу крови? Это кладбище? Мы с тобой говорили о соблазне утопии...» Второй (после затянувшегося молчания): «Мне кажется, что я это всю жизнь ненавидел, а выходит, любил. Люблю...»

У меня не было выбора. Я здесь живу, и это то, что я знаю, чувствую. Не только умом и сердцем, но воспринимаю и той частью своей души, которая неподвластна мне: подсознанию ведомо больше, чем сознанию.

Но у Варлама Шаламова вдруг встречаю такую мысль: лагерный опыт никому не нужен. Лагерный опыт нужен только в лагере.

И все же...

Если жизнь становится понятной, когда получает завершение — после

Мы мало думали о социализме, мы в нем просто жили. А меня как раз он и интересует, обыкновенный социализм, внутренний, домашний. Какой он был на улице и дома, в театре и на площади, в школе и на фронте, в родильном доме и на кладбище. В крике и в шепоте. В искреннем доносе и в стихах. Я торопилась запечатлеть, казалось бы, знакомые лица: какими они были — поколения революции, репрессий, оттепелей, застоев. «Лицом к лицу лица не увидать» — писал поэт. Но в историческом отдалении есть свои опасности: исчезнут подробности, детали, портреты, в которые уже нынче, когда все еще рядом, невозможно поверить, так они невероятны. И кто поручится, что через десять—двадцать лет мы не начнем додумывать, ретушировать прошедшее, устыдившись себя сегодняшних? Автопортреты — всегда версия, а не фотография...

Почему в книге собраны рассказы самоубийц? А не рассказы обыкновенных советских людей с обыкновенной советской биографией? В конце концов кончают с собой и от несчастной любви. Но все равно во всем присутствует время... Тем более что мы сборные люди, до сих пор мы никогда не жили каждый со своим одиночеством. Мы жили с идеями, с государством, с временем. Государство было нашей вселенной, космосом, религией. Оно делало нас соучастниками всего, что с ним творилось, — и страшного, и великого. То есть «я» не было, существовало только «мы». Сегодня при-



Фото Владимир Ботдланова

## Зеркало для дьявола

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ в беседе с Ириной РИШИНОЙ

кратией. У кого слово — у того и власть, это в Беларуси прекрасно понимают, и потому идет такая настоящая борьба за «свою», карманную прессу.

— И что же, действительно будет политический суд?

— Я его не хочу. Не потому, что боюсь за себя или отказываюсь от написанного, но я не могу больше физически переносить вида разъяренных людей, в ненависти и гнев посылающих проклятия друг другу... Может быть, новая книга, «Зачарованные смертью», которая появится в апрельском номере «Дружбы народов», в какой-то мере высветит психологическую подоплеку нынешних духовных поединков! Сначала откровенно, когда узнала, что новая книга — это рассказы русских самоубийц, пришла в ужас: ведь закончив «У войны не женское лицо» и «Последних свидетелей», Светлана говорила, что не может видеть, как лезет к ноже и кошке страшную злободушную улыбку у ребенка идет из носа кровь, что ее тошнит от застывших выпученных глаз рыбы, выброшенной на береговой песочек... Казалось, все — предел, и все же пошла — хотя как жить с таким болезненным грузом, в вечном бессонном смятении? — не могла не пойти и цинковым мальчишкам. И после афганской предсмертной — снова смерть? В тех же нишах — война, там убивали, а здесь самоубийство, самопогибель. Надпись — обрывки Кирилловский вариант «своеволия»: этот герой «Бесов» полагал, что главная свобода — смочь убить себя, и тогда человек становится равным Богу... Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и кошку страшно злободушно... Так о чем новая книга? Зачем она сегодня, когда посюду льется кровь, зачем эта соль на раны?

## Монолог перед публикацией,

## или О бессилии слова

— На столе лежит готовая рукопись. Кричит, вопит, плачет... Я различаю голоса... Не хор, как это было раньше, а одинокий человеческий голос... Этими голосами выражает себя реальность. Они все звучат по-разному... У каждого — своя тайна... Так о чем книга? О том, что Марина Цветаева называла «желанием не быть»? Как и предыдущие книги не только о войне, так и эта не только о самоубийстве, она все о том же: кто мы?

Я ее боюсь. Да, я боюсь своей книги. Я не хотела бы знать обо всех нас того, что в ней собралось воедино и обнародовалось. Где взять мужество, чтобы услышать правду? Сама смерть порой не так уж неутомима, как правда. Не раз в течение двух лет, пока писала книгу, задавала себе этот вопрос: зачем снова о смерти? Когда человек всю жизнь сидит в тюрьме и говорит только о тюрьме, никто не удивляется: почему он не подберет другой темы для разговора? О чем я? Да все о том же. О своих сомнениях: надо ли было писать эту книгу? Страшную и беззащитную...

Что есть наша история?

смерти, то, наверное, так и с идеями? Живой миф не поддается анатомизированию, он постоянно где-то прорастает. Мертвый миф — застывшая фотография родивших его поколений. Первые наиболее простые, доступные — стадии — отречения и надругательства над мифом социализма — мы прошли. Настало время его пока еще пристраивать (слишком рядом!), но уже — исследованию. Каждый задает себе этот вопрос, спрашиваем друг друга: что же с нами было?

У коммунизма был безумный план — переделать человеческую природу, изменить ветхого Адама. «Гомо советикус» — человек, которого вывели в лаборатории марксизма-ленинизма. Признаемся — это мы. Теперь нам известно, что мы принадлежали к особому типу человеческой генерации, единоразу возможному, непознанию. Но этот тип должен не исчезнуть, раствориться в мировой цивилизации, в которую мы, так хочется верить, возвращаемся. Одни утверждают, что это трагический и прекрасный человек, другие — злодеем, отчужденным нарекли его «совком». Как будто к неизвестным незнакомцам, а не к себе приглядываемся.

Там, где еще совсем недавно в металле, бронзе и бетоне возвышались полувоенные, полурелигиозные памятники большевистским богам, — битый камень, матерщина на вздыбленных постаментках. Иначе никогда у нас и не было. Иначе не умеем. Мы — люди войны. Мы или воевали, или готовились к войне. Мы никогда не жили по-другому. У наших ежедневных газет военных-запах даже тогда, когда они пишут о мире: ошалевшая толпа у винного отдела распотала миллионеров; беззлой фронтоник, кавалер орденов Славы, расстрелял из обрезца обидчивых в частном кафе; старая большевичка вскрыла вены — снесена памятник Ленину, рухнул мир ее неуверенных представлений; бывший воин-афганец пытался сжечь себя на площади — протест против надвигающейся другой жизни, с другой социальной иерархией и другой системой ценностей... Одни выходят на улицы с красными знаменами, другие кричат им в спину проклятия... Красный цвет сбренчен быть кровавым... Симптомы социальной истерии, или, на языке медиков, «проникающий невроз». Музыка распадала...

И я хотела услышать их, именно их, разочаровавшихся и бессильных приспособиться. Они все способны отдать, они уже поныли к тому, что у них все время что-то забирают. Но вот трехлетняя загадка: последний кусок хлеба отдадут, жизнь отдадут, а иллюзии верни им! Непостижимая магия великих обманов...

ходитса самим добывать смысл своей жизни. Мы учимся одиночеству. Порой бессмысленной ценю...

«Самоубийство, как явление индивидуальное, — писал в эссе «О самоубийстве» Н. Бердяев, — существовало во все времена, но иногда оно становилось явлением социальным». Статистика последних лет свидетельствует об этом: в 1987 году — 54 тысячи самоубийств, в 1988 году — 56 тысяч, в 1991 году — 60 тысяч. Предмет моего исследования — люди идеи, выросшие в ее воздухе, в ее культуре и не перенесшие ее крушения, ее катастрофы.

На глазах тех, кто его обустривал и заселял, исчезает гигантский социалистический материк. Остаются мертвые застывшие кратеры, беспелесная зола охладевших страстей и предрасудков. Все это вместились в одну человеческую жизнь. Тот укромный дымчатый путь — не просто 50—70 лет, а чья-то молодость и «усыпанный товарищами берег». Они остались там: кто на гражданской — в 22-м, кто в ГУЛАГе в 37-м, кто под Смоленском в 41-м...

Идеям не бывает больно. Жаль людей. Меня волновала трагедия маленького человека, искренне принявшего коммунистическую веру, поставившего знак равенства между собой и государством. Трагедия исполнителя. Трагедия вождей (сегодняшних и вчерашних) меня задевает мало. Я жалею «простого» человека. Мы не можем его судить, не имеем права. Он сам себя судит. И сам заплатит за все сполна. Бывший фронтоник, пытавшийся уйти из жизни, которую он перестал понимать, признается: «Я закрылся дома, в своей комнате, и нам с женой кажется, что ничего не изменилось, все как прежде. Надо только закрыть двери и не подходить к телефону... И к телевизору... Я хочу умереть коммунистом, я хочу умереть советским человеком. На своей Родине». Одна из героинь книги, врач, ей 52 года, пыталась покончить с собой, потому что однажды утром почувствовала, что живет в другой стране, хотя нигде не уезжала: «Мне жалко своей веры и того большого сильного государства, в котором мы больше не живем. Моя жизнь потеряла смысл... Чужая страна... Чужой город... Чужие люди... Я ничего не понимаю и не узнаю... Узнаю только животных. Птиц. Может, поэтому люди стали так часто заводить щенков? На выставках собак очереди длиннее, чем в мавзолей и в музей. Я вырвусь из больницы, еду на дачу. Буду копать землю, смотреть на деревья, на траву... Я не хочу видеть людей... В чем моя вина? Почему я должна каяться?

Я никого не расстреливала, не предавала... Никому сейчас не верю! Никому!!! Я всех боюсь... Я боюсь, потому что не могу разлюбить то, что со мной было...» А не подобными ли словами выкрикивает мне сейчас свою боль и отчаяние мать, что потеряла сына на афганской войне? Эта похожесть меня буквально обессиливает. Кажется, мы бьемся, бьемся — а слышат ли нас?

Мы слишком сплелись, соединились со своими мифами. Так слитно, что не отодрать. Если мифы чего-нибудь и боются, то только не времени. Время действует на них, как вода на цемент. Оно придает им даже некий исторический аромат. Самые страшные из них делают привлекательными. Мифы боются одного — живых человеческих голосов. Свидетельств. Даже самых робких...

Если сейчас у нас не хватит сил их выслушать, то хотя бы соберем в запяски. Чтобы не исчезло наше время, чтобы не исчезли мы. Потому что мы, люди из социализма, похожи и непохожи на всех остальных. У нас свой язык, свой образ чувств, свои представления о добре и зле, о грехах и мучениках. Мы похожи и не похожи на людей вообще, точно так же, как человек, выпущенный из тюрьмы, но просидевший там много лет, похож и не похож на остальных в толпе. В тюрьме у него имелась кровать, какая-никакая, но всегда был обед и станок или инструмент для работы. Он знал, что в положенный срок ему выдадут новую фуфайку, новую шапку... А на свободе надо думать и отвечать за все самому. Для этого человека ужасная вещь — беспокорство в голове. Это состояние Э. Фромма определил как «бегство от свободы».

Мне кажется, что я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я вместе с ним живу бок о бок, люблю и ненавижу. Он — это я. Мы вместе. Мы все — свидетели. И я тоже. И я должна быть до конца искренней. Я должна не забыть, не постесняться сказать, что в детстве и юности тоже любила петь революционные песни. Да, мы — свидетели и участники, плачи и жертвы в одном лице — на обломках того, что еще недавно слыло гигантской социалистической империей, называлось социализмом, социалистическим выбором. И это еще была просто жизнь, которой мы жили.

Но надо признаться, хотя страшно признаться, что долго, слишком долго нами владела идея, которую иначе как танатологией (наукой о смерти) не назовешь. Нас учили умирать. Мы хорошо научились умирать. Гораздо лучше, чем жить... Я много размышляла над словами И. Бунина о том, какое громадное место занимает

смерть в нашем и без того крохотном существовании.

...Самое страшное — собраться с духом и броситься в пропасть бесконечного страдания другого человека. Я не успеваю набрасывать портреты. Я делаю простые снимки. Моментальные снимки. Но всегда помню, что в одной фотографии отражается всего лишь одна сотая секунды. Тороплюсь. Но надеюсь, что это не только фотография и документ, но и образ моего времени, каким я его вижу. Я стараюсь, чтобы в каждой исповеди промелькнуло наше время и догадка о человеке вообще. Вы не задумывались, почему так волнуют бесхитростные семейные альбомы? Они невинно просты и бессмертны. Какой может быть тут текст? Что можно сочинить к фотографиям свадьбы или похорон? Все читается на лицах... Наверное, впаду в грех, но все-таки осмелюсь: искусство мне напоминает, свидетельствует о Боге, а семейные альбомы рассказывают о маленькой бесконечной человеческой жизни...

И чем больше слушаю и записываю, тем больше убеждаюсь, что искусство о многом в человеке и не поддается. Не всё говорят слова, не всё могут краски, не всё дано звукам, не всё спрятано в молитвах...

Зачем-то каждому из нас дана своя жизнь. И свой путь.

Уходит время. Время великих обманов. Послушаем его свидетелей. Честных свидетелей. Пристрастных. Они убивали себя, чтобы жить призраки... Дьяволу надо показывать зеркало. Чтобы он не думал, что невидим. Вот и ответ на вопрос: зачем эта книга? Все дело в дилеммах. Если мы не уберем их, они уберут нас...

«Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм» — какое страшное осуществление, какая бесчеловечная реализация романтического призыва-пожелания!

Алесь Адамович когда-то говорил о «сверхлитературе» как о шоке, о жготе. Наверное, то, что делает Светлана Алексиевич, и есть та самая «сверхлитература». Разумеется, много знаний — много печали, но зато «душа, уж точно, ежели обожжена, справедливой, милосердной и праведной она». Как бы мы ни устали и как бы нам, бедным, ни хотелось провести вечер с богатыми, которые тоже плачут, или погрузиться в проблемы инопланетян — собственные проблемы все равно не отпустят. Насколько глубоко сидит в нас эта «совковость», эта приписка жить ставим, советским способом, «с головой, повернутой назад». И все-таки проклевывается ли нечто такое, что дает хотя бы намек на остаток в мире социализма, не застрять на переходе, когда одна нога еще там, а вторая, делая шаг, никак не может наступать под собой твердую почву?

— В чем все-таки надежда?

— В том, что должен же быть какой-то смысл в нашем страдании... Другого ответа пока не знаю... И еще, может быть, в том, чтобы полюбить саму жизнь. Я учу себя любить свой дом... Утро и вечер...

Мы об этом забыли...